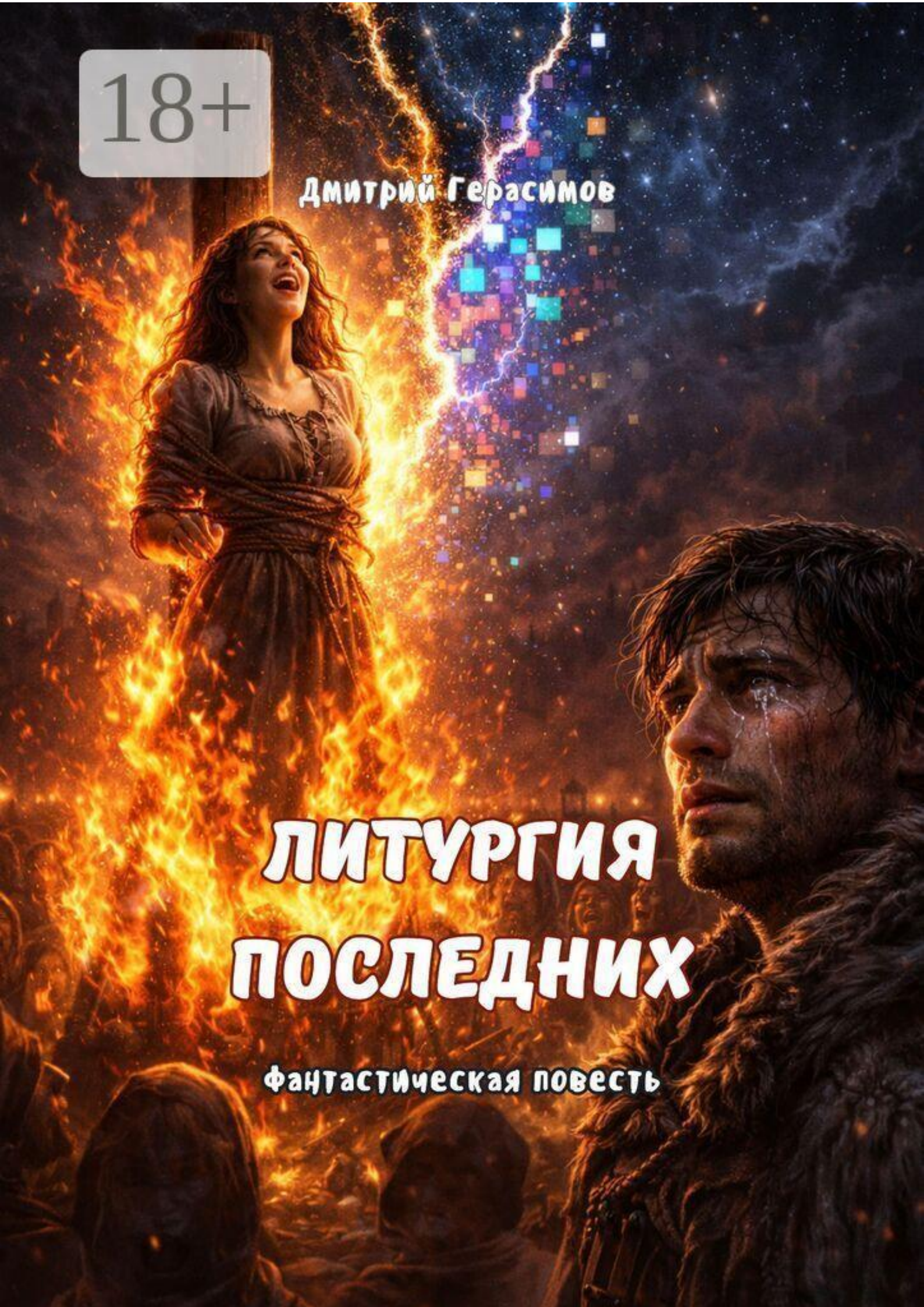

18+
Дмитрий Герасимов
ЛИТУРГИЯ ПОСЛЕДНИХ
Фантастическая повесть

Дмитрий Герасимов

Литургия последних. Фантастическая повесть

«Издательские решения»

Герасимов Д.

Литургия последних. Фантастическая повесть / Д. Герасимов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-695411-3

Он жил в мире, где вера была сильнее стали, а смерть за правду — высшая добродетель. Охотник на еретиков не сомневался: он карает безумцев, посягнувших на основы мироздания. Но когда приговорённые к костру исчезают, рассыпаясь светом, а в реальности его встречает железный холод космоса, рушатся все истины. Теперь ему предстоит узнать, что страшнее — сладкая ложь, в которой он жил, или пустота, в которой предстоит выжить. Роман о вере, любви и цене правды.

ISBN 978-5-00-695411-3

© Герасимов Д.
© Издательские решения

Содержание

Часть 1. Охотник 6
Глава 1. Кровь на паперти 6
Глава 2. Исповедь охотника 15
Глава 3. Сомнения инквизитора 21
Глава 4. Погоня в лесу 28
Глава 5. Гимн в сумерках 36
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Литургия последних
Фантастическая повесть

Дмитрий Герасимов

© Дмитрий Герасимов, 2026

ISBN 978-5-0069-5411-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1. Охотник

Глава 1. Кровь на паперти

Город просыпался в медном грохоте колоколов.

Их было сорок — сорок главных колоколов собора Рождества Богородицы, не считая малых, зазорных, будничных. Самый большой, «Спас», весил тысячу пудов — его раскачивали двадцать звонарей, и когда он ударял, воздух содрогался, и птицы взлетали с крыш испуганными тучами, и у старух в дальних переулках останавливались сердца, чтобы через миг забиться снова — уже очищенными, омытыми этим гулким, всепроникающим звуком.

Марк стоял у окна своей избы и слушал.

Благовест плыл над городом, накатывал волнами, проникал сквозь стены, сквозь кожу, сквозь кости — туда, в самую глубину, где душа встречается с Творцом. Так было всегда. С детства. С той поры, когда мать, царствие ей небесное, брала его за руку и вела к заутрене, и мороз щипал щёки, и фонари качались в предрассветной мгле, и церковные двери распахивались, выпуская тёплый, густой, сладкий запах ладана.

Марк закрыл глаза, впуская в себя этот звон.

Он любил свой город. Любил эти узкие кривые улочки, вымощенные серым камнем, по которому столетия ступали тысячи ног — монахи и воины, князья и нищие, блудницы и святые. Любил деревянные дома с резными наличниками, где в окнах по вечерам загорались свечи, и тени от них плясали на занавесках, и казалось, что внутри каждого дома — свой маленький мир, уютный, тёплый, молитвенный. Любил запахи — сдобы из пекарен, дёгтя от сапожных мастерских, конского навоза на мостовой, речной свежести, тянущей от пристани. Любил людей — торговок, громко зазывающих покупателей, попов в чёрных рясах, спешащих по делам, боярских детей в цветных кафтанах, нищих на паперти, тянущих скрюченные руки за подаянием.

Всё это было его. Его жизнь. Его вера. Его мир.

Марк открыл глаза и посмотрел на волчью накидку, висевшую на гвозде у двери. Серый мех, мягкий, густой, переливающийся на свету. Знак его ремесла. Княжий охотник на еретиков — так называли его в народе. Шепотом. Со страхом. С уважением.

Десять лет он ловил тех, кто отпадал от истинной веры. Тех, кто шептал по углам крамольные речи о том, что мир — не настоящий. Тех, кто собирался по лесам и молился непонятно кому — то ли древним истуканам, то ли пустоте. Тех, кто смотрел на святые иконы и не крестился.

Он ловил их, приводил на суд, и суд был скорым и праведным. Костер. Петля. Иногда — просто меч, если еретик сопротивлялся.

Марк не сомневался в правоте своего дела. Вера была основой всего. Церковь — матерью. Князь — отцом. Еретики — болезнью, которую надо вырезать, чтобы спасти тело.

Так он думал всегда.

До сегодняшнего дня.

Марк надел накидку. Мех лёг на плечи привычной тяжестью, почти живой — казалось, волк всё ещё дышит, всё ещё скалит зубы, защищая хозяина. Он поправил меч на поясе, перекрестился на иконы в красном углу и вышел.

Улица встретила его солнцем и шумом.

Утро было ясное, по-летнему тёплое. Солнце только поднялось, но уже припекало основательно, обещая жаркий день. В воздухе пахло свежеиспечённым хлебом — пекарня дьякона Игнатия работала с полночи, и сейчас оттуда выносили на продажу румяные караваи, круглые, как солнце, с хрустящей корочкой. Бабы в цветастых платках уже разложили товар — зелень, яйца, творог в берестяных туесках. Мужики тащили мешки с зерном, покрикивали на ленивых лошадей. Дети носились меж ног с деревянными мечами, изображая дружинников.

Марк шёл к собору, и люди расступались перед ним. Кто-то кланялся, кто-то крестился украдкой, кто-то просто отводил глаза. Волчья накидка действовала безотказно — её знали все. Знак того, что идёт не просто воин, не просто княжий человек — идёт охотник на души.

Он не любил этого. Не любил, когда шарахались, когда в глазах появлялся страх. Но понимал: так надо. Страх — часть его работы. Еретики должны бояться. А праведные — знать, что их защитят.

Собор открылся внезапно — за поворотом, во всю ширь.

Марк остановился, как всегда останавливался, когда видел его. Огромный, белокаменный, пятиглавый, с золотыми куполами, горящими на солнце так, что больно смотреть. Построенный триста лет назад первым князем, крестившим эту землю. Говорили, сам митрополит из Царьграда приезжал освящать его, и мощи святых закладывали в фундамент, чтобы стоял вечно.

Марк знал здесь каждый камень. Каждую трещинку. Каждого ангела на фресках, глядящего с высоты строго и милостиво.

Он перекрестился и пошёл к паперти.

Площадь перед собором была полна.

Марк не удивился. Казни всегда собирали толпу. Люди любили зрелища — особенно такие, где можно было и праведный гнев проявить, и на чужие муки посмотреть, и душой к Богу вознестись, благодаря за то, что миновала чаша сия.

Костёр уже сложили.

Он стоял в центре площади, метрах в тридцати от паперти, чтобы священники могли видеть, но чтобы искры не долетали до храма. Дрова лежали правильным колодцем — берёзовые, сухие, пропитанные смолой, чтобы горели жарко и быстро. Вокруг — солома, тоже смоляная, для верности. Три столба вбиты в землю, к каждому — цепи.

Марк подошёл ближе, проталкиваясь сквозь толпу. Люди узнавали его, давали дорогу. Кто-то шепнул: «Сам охотник пришёл». Кто-то: «Слава тебе Господи, теперь порядок будет».

Он встал в первом ряду, там, где положено стоять княжьему человеку. Справа и слева — его люди. Пафнутий, старый вояка с лицом, изрубленным шрамами, надёжный как скала. Молодые стрелки — Игнат, Михей, двое братьев-близнецов, которых все звали просто «Рыжики» за цвет волос. Дальше — городская стража в блестящих кирасах, с алебардами, больше для красоты, чем для дела.

Костёр уже приговорили. Осуждённые висели на цепях.

Трое. Двое мужчин и женщина.

Марк смотрел на них, стараясь не пропустить ничего. Опыт научил его: еретики часто бесновались перед смертью, проклинали, призывали демонов, бились в цепях. Иногда, наоборот, впадали в оцепенение, бормотали молитвы — но не наши, а свои, еретические. По ним всегда можно было определить степень одержимости.

Эти были странными.

Мужчины — немолодые, лет по сорок-пятьдесят, с бородами, в простых холщовых рубахах, босые. Таких каждый день видишь на базаре или в поле — крестьяне, пахари, работяги. Ничего особенного. Но лица… лица были спокойными. Слишком спокойными.

Женщина — молоденькая, лет двадцать, не больше. Русая коса растрепалась, свисает с плеча грязной паклей. Лицо в синяках — видно, били на допросах. Но глаза… глаза смотрели не в землю, как положено приговорённой, а куда-то вдаль, поверх голов, поверх собора, выше.

Марк проследил за её взглядом. Там было только небо. Синее, чистое, летнее.

— Чего смотрит? — буркнул Пафнутий. — Бесов тешит?

— Не знаю.

Гул толпы нарастал. Люди напирали, толкались, вытягивали шеи. Торговки побросали лотки, мужики подсаживали на плечи мальчишек, чтобы те лучше видели. Пахло потом — густо, кисло, по-площадному. Пахло дешёвым пивом, которым запасались с утра. Пахло сдобой из той самой пекарни — странное соседство, жизнь и смерть рядом.

Из открытых дверей собора тянуло ладаном. Сладкий, густой, удушающий запах смешивался с запахом толпы, и от этого смешения кружилась голова.

Марк снова посмотрел на собор.

Огромный, величественный, нерушимый. Белый камень, сложенный так плотно, что лезвие ножа не просунешь между плитами. Купола золотые — червонным золотом крыты, толстым, тяжёлым. Кресты над ними — с цепями, с сиянием, с голубями внизу, символизирующими Святой Дух.

Всё правильно. Всё по-божески.

И вдруг — странное чувство. Марк поймал себя на том, что разглядывает линии куполов. Они были слишком правильными. Слишком ровными. Словно их вычертили циркулем по линейке, а не клали руки каменщиков, с их ошибками, с их неровностями, с их живым человеческим дыханием.

И тени. Тени от куполов падали как-то… одинаково. Будто солнце стояло сразу в трёх местах и освещало каждую главу отдельно.

Марк моргнул, потряс головой.

Наваждение прошло.

Он перекрестился — правой рукой, истово, прижимая пальцы ко лбу, животу, плечам. И тут же поймал себя на мысли: а почему я это делаю? Почему именно так? Кто установил этот порядок?

Он отогнал мысль. Не время. Не место.

Глашатай вышел вперёд, развернул свиток. Мальчишка в герольдской одежде — красный кафтан, шапка с пером — поднёс трубу к губам, протрубил коротко, резко. Толпа затихла.

— Осуждены! — закричал глашатай, напрягая глотку. — Осуждены судом церковным и княжьим за ересь, за богохульство, за совращение верных! За то, что учили людишек смуте, за то, что молились идолам железным, за то, что называли мир наш сном и мечтали пробудиться! Казнь — сожжение!

Толпа взревела. Кто-то заулюлюкал, кто-то захлопал, кто-то, наоборот, закрестился испуганно. Бабы заголосили — то ли от страха, то ли от восторга.

Факельщики шагнули вперёд. Их было трое — здоровенные мужики в кожаных фартуках, с лицами, закрытыми тряпками, чтобы дым не ел глаза. В руках у каждого — пылающий факел, смоляной, дымный, с чёрным хвостом.

Ещё секунда — и огонь коснётся соломы.

И тут случилось то, чего Марк никак не ожидал.

Осуждённые запели.

Они запели «Свете Тихий» — древний гимн, который поют на вечерне, когда солнце клонится к закату и зажигают свечи перед образами.

«Свете Тихий святыя славы, Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе!»

Голоса были слабыми — три дня без еды и воды, допросы, пытки. Они срывались, хрипели, но пробивались сквозь гул толпы, сквозь треск факелов, сквозь медное дыхание колоколов, которые всё ещё гудели где-то в вышине.

Женщина пела тонко, почти по-детски чисто. Голос её взлетал вверх, к куполам, к небу, к тому самому солнцу, которое сейчас стояло в зените. Мужчины вторили басами — грубо, хрипло, но ровно, как на клиросе в большой праздник.

«Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога…»

Толпа притихла. Это было не то, чего ждали. Не проклятия, не крики, не мольбы о пощаде. Пение.

Марк смотрел на женщину.

Она улыбалась.

Не безумной улыбкой одержимой, не судорогой страха — а спокойно, светло, радостно. Так улыбаются люди, которые видят что-то, чего не видят другие. Что-то прекрасное. Что-то настоящее.

Она смотрела не на небо. Она смотрела куда-то сквозь. Сквозь стену собора, которая вдруг показалась Марку не каменной, а какой-то… прозрачной. Сквозь толпу, сквозь факельщиков, сквозь него самого.

— Господи Иисусе Христе, помилуй мя… — машинально шепнул Марк и перекрестился.

И только потом заметил, что крестится левой рукой.

Он отдёрнул руку, словно обжёгся. Оглянулся на Пафнутия — не заметил ли старый? Но Пафнутий смотрел на костёр, лицо его было каменным, равнодушным.

Факелы упали в солому.

Смола занялась мгновенно. Пламя взметнулось вверх жёлто-оранжевым столбом, с чёрными клубами дыма, с треском, с шипением. Жар ударил в лицо даже на таком расстоянии. Толпа ахнула и отхлынула.

А они пели.

«Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир Тя славит…»

Огонь лизнул ноги женщины. Она вздрогнула — от неожиданности, не от боли — и запела громче, перекрывая треск пламени. Голос её взлетал всё выше, выше, словно пытался дотянуться до самого Престола.

Марк видел много казней. Десятки. Он знал, как горят тела. Сначала лопается кожа, вздувается волдырями. Потом жир плавится, течёт чёрными струями, капает в огонь, и пламя становится синим от этого жира. Потом мясо обугливается, чернеет, лопается, обнажая кости. Кости горят дольше всего — они белеют, потом сереют, потом рассыпаются в пепел.

Этот костёр был другим.

Пламя охватило женщину по пояс. Её рубаха сгорела мгновенно, волосы вспыхнули ярким факелом, обнажив череп. Но тело… тело не корчилось, не падало с цепей. Оно таяло.

Марк протёр глаза. Протёр снова.

Женщина таяла.

Не как воск от свечи — медленно, текуче. А как туман на утреннем солнце — быстро, неостановимо. Края её тела становились прозрачными, сквозь них виднелись дрова и пламя. И по краям этого тающего тела бегали искорки — мелкие, цветные, как блики на воде в солнечный день, только не на воде, а в воздухе. Синие, зелёные, золотые, красные. Они кружились, переливались, исчезали.

Никто вокруг не замечал этого.

Священники на паперти стояли с каменными лицами, с крестами в руках, с кадилами, из которых вился ладан. Дьякон читал молитву — громко, нараспев, перекрывая пение. Толпа охнула, когда треснула цепь и обгоревшее тело упало в костёр.

Упало — и исчезло.

Совсем.

Марк смотрел на то место, где только что была женщина. Там горели дрова. Чистые, сухие, почти не обгоревшие дрова. Без пепла. Без костей. Без ничего.

Мужчины тоже исчезали. Один за другим. Пламя охватывало их — и они таяли, рассыпались цветными искрами, улетающими в небо. И дрова под ними оставались почти нетронутыми.

— Видели? — хрипло спросил Марк, схватив Пафнутия за руку.

— Чего, Марк? — Пафнутий смотрел на костёр равнодушно. — Горит, и слава Богу. Чтоб им в аду гореть вечно.

— Тел нет! — Марк почти кричал. — Смотри! Нет тел!

— Есть, — Пафнутий пожал плечами. — Вон, догорают. Чёрные всё.

Марк посмотрел туда, куда указывал Пафнутий. Он видел только дрова. Чистые, сухие, аккуратно сложенные дрова.

Никаких тел.

Он отпустил руку Пафнутия, отшатнулся. В голове гудело. Перед глазами всё плыло.

Кто-то тронул его за плечо. Молодой послушник из собора, бледный, с испуганными глазами.

— Господин охотник, вас отец Глеб к себе требует. Срочно.

Марк кивнул, не слыша себя. Он пошёл к собору, но ноги не слушались, подкашивались. Он споткнулся о камень, едва не упал. Подхватил себя, заставил идти.

В ушах всё звучало:

«Свете Тихий…»

Он не заметил, как оказался внутри. Прохлада собора обдала его, как вода. Пахло воском, ладаном, деревом — привычно, успокаивающе. Горели свечи, мерцали лампады. Лики святых смотрели со всех сторон — строго, милостиво, вечно.

Марк остановился у иконы Спаса. Старой, тёмной, перед которой молилась ещё его мать. Посмотрел в глаза Христу.

И вдруг понял, что видит их.

Не как окно в горний мир, не как образ Божества — а просто как краску на доске. Очень искусно нарисованную, очень красивую, но — краску. Охру, сурик, бакан, левкас. Пигменты, смешанные с яичным желтком, нанесённые кистью на липовую доску, покрытую олифой.

Всё правильно. Всё технологично.

И пусто.

— Господи, — прошептал Марк. — Если Ты есть — явись. Я не понимаю, что со мной.

Икона молчала.

Только свечи потрескивали и где-то далеко, в алтаре, шаркали шаги пономаря.

Марк простоял так долго. Потом повернулся и пошёл к выходу.

На паперти его ждал послушник.

— Отец Глеб велел передать: завтра, после утрени. Ждёт вас.

— Передай: приду.

Марк вышел на площадь.

Костёр догорал. Люди расходились, обсуждая казнь, торгуясь, смеясь. Дьяконы сгребали угли — то, что осталось от еретиков. Марк подошёл ближе, заглянул.

Угли. Зола. И больше ничего.

— Чисто сгорели, — сказал один из дьяконов, заметив его. — Господь принял очистительный огонь. Или бесы забрали свои души.

Марк молча развернулся и пошёл прочь.

Он шёл по улицам, не разбирая дороги. Люди расступались перед ним, но он не замечал. В голове гудело. В груди жгло. Хотелось кричать, молиться, биться головой о стену.

Он не заметил, как оказался у своего дома. Маленькая изба в два окна, чистая, тёплая. Лампадка перед иконами — зажёг с утра, ещё горит. Красный угол, образа в серебряных окладах, Евангелие на аналое.

Марк упал на колени перед иконами, попытался молиться.

Слова не шли.

Он открывал рот, шептал привычное: «Господи, помилуй», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Отче наш» — и слышал только пустоту. Слова падали в тишину, как камни в колодец, и не было отклика.

Он простоял на коленях до вечера.

Лампадка догорела, погасла. Красный угол утонул во тьме. В окна глядела ночь — звёздная, тихая, летняя.

Марк поднялся, разделся, лёг на лавку.

Долго лежал, глядя в потолок.

А в голове всё звучало:

«Свете Тихий…»

И цветные искры плясали перед глазами.

И лицо женщины — улыбающейся, счастливой, глядящей сквозь стены — не уходило из памяти.

Марк закрыл глаза и провалился в сон без сновидений.

Но перед сном, уже на грани забытья, он услышал то, что потом долго не мог вспомнить: тихий, ровный, железный гул. Он шёл отовсюду — от стен, от пола, от икон. От самого мира.

Гул умирающей машины.

Глава 2. Исповедь охотника

Утро после казни не наступило — оно вползло в город серым, тягучим, как патока.

Марк не спал. Всю ночь он пролежал на лавке, глядя в потолок, и слушал тишину. Тишина была странной — не пустой, а наполненной. В ней прятались звуки, которых раньше он не замечал: дыхание половиц, шепот ветра в ставнях, далёкий, едва уловимый гул, похожий на гудение печной трубы, только глубже, ровнее, словно сам корабль — нет, сам мир — дышал во сне.

Марк встал на рассвете. Тело было чужим, тяжёлым, будто налитым свинцом. Он умылся ледяной водой из кадки — не помогло. Перекрестился на иконы — рука дрогнула, и он поймал себя на том, что снова крестится левой. Одёрнул руку, перекрестился правой, но чувство правильности не вернулось.

За окном город просыпался. Петухи орали на все голоса, где-то скрипели ворота, бабы уже тащили коромысла к колодцу. Жизнь шла своим чередом.

Марк оделся. Волчью накидку надевать не стал — сегодня он не охотник. Сегодня он просто человек, идущий к священнику. Надел простую холщовую рубаху, подпоясался ремешком, накинул тёмный плащ. Взял посох — для солидности, а не для опоры.

Вышел.

Город встречал его привычным шумом. Рынок уже разворачивался — торговцы разбирали товар, мужики тащили мешки, дети носились с собаками. Пахло свежим хлебом, навозом, рыбой — обычный утренний набор. Марк шёл, и люди кланялись ему, но без того испуга, что вызывала волчья накидка. Просто кланялись знакомому человеку.

Он миновал соборную площадь. Костёр уже разобрали, угли выгребли, пепел развеяли. Только чёрное пятно на камнях напоминало о вчерашнем. И ещё — запах. Лёгкий, сладковатый, похожий на ладан, но с примесью чего-то другого, неуловимого.

Марк ускорил шаг.

Отец Николай жил на окраине, в маленьком домике при церкви Космы и Дамиана. Церковь была старой, деревянной, срубленной ещё при первых князьях. Говорили, сам Сергий Радонежский благословил это место, когда шёл мимо. Правда это или нет — никто не знал, но верили. Верили и ходили сюда те, кому не нужна была столичная пышность, кому нужна была простая, тихая молитва.

Марк подошёл к калитке. Она была не заперта — здесь никогда не запирали. Зашёл во двор, заросший травой, с несколькими яблонями, уже отцветшими. У крыльца сидел толстый рыжий кот, грелся на солнышке. Увидев Марка, лениво приоткрыл один глаз и снова закрыл.

Марк постучал в дверь.

— Войди, — раздался старческий голос изнутри.

Он вошёл, перекрестился на небольшой иконостас в углу, поклонился хозяину.

Отец Николай сидел у окна на простой деревянной скамье. Перед ним стоял небольшой столик с глиняной кружкой и книгой в кожаном переплёте — Псалтирь, судя по закладкам. Священник перебирал чётки — чёрные, деревянные, отполированные до блеска тысячами касаний. И смотрел на улицу, где за окошком колыхалась трава и гудели шмели.

Был он стар — очень стар, хотя точный возраст его никто не знал. Лицо изрезано глубокими морщинами, как старая кора. Борода белая, длинная, почти до пояса. Руки в старческих пятнах, но пальцы ещё твёрдые, уверенные. Глаза — светлые, голубые, совсем не старческие — смотрели ясно и чуть насмешливо, будто знали что-то, чего не знают другие.

— Садись, Марк, — сказал он, не оборачиваясь. — Давно тебя не видел. С Пасхи, кажись.

— С Пасхи, отче.

— Садись, садись. В ногах правды нет.

Марк сел на лавку у стены. В избе было чисто, но бедно: стол, лавки, печь, в углу несколько икон без окладов, просто на досках, но таких тёплых, живых, что хотелось смотреть на них долго-долго. Пахло сушёными травами, мёдом, воском — и ещё чем-то неуловимым, что всегда бывает в домах старых людей, проживших долгую праведную жизнь.

— С чем пришёл? — спросил отец Николай, наконец поворачиваясь. — На охоту благословляться?

Марк помолчал, собираясь с мыслями. Потом сказал:

— С сомнением, отче.

— С каким?

— Вчера казнь была. Троих сожгли. Одержимых, как сказали. Они пели перед смертью. «Свете Тихий». И я видел… — Марк запнулся, подбирая слова. — Я видел, как они исчезают. Не сгорают — исчезают. Как будто их не было никогда. И тела после них не осталось. Только дрова. Чистые, почти не горелые.

Отец Николай долго молчал. Чётки мерно щёлкали в его пальцах — раз, два, три, четыре, пять… Марк считал помимо воли, и счёт успокаивал.

— А другие видели? — спросил наконец священник.

— Нет. Пафнутий сказал, что тела есть. Что всё как обычно. И другие тоже видели тела. Я один… один видел, как они исчезают. Как искры цветные в небо улетают.

— И ты подумал: бес искушает?

— Подумал.

— А теперь?

Марк поднял глаза.

— Не знаю, отче. Я вчера перед иконами стоял — и не мог молиться. Иконы как доски стали. Красивые доски, и только. Словно… словно мир вокруг — он какой-то не такой. Слишком правильный. Будто его нарисовали. Или выточили на станке.

Отец Николай вздохнул глубоко, как вздыхают после долгой работы. Встал, подошёл к небольшому шкафчику в углу, достал оттуда глиняную бутыль, два таких же стакана, кусок хлеба на деревянной тарелке.

— Выпей. Легче будет.

— Я на службу ещё хотел, отче…

— Успеешь. Пей.

Он налил вино — тёмное, густое, пахнущее ягодами и солнцем. Протянул стакан Марку, себе налил меньше.

Марк выпил. Вино было кисловатым, терпким, деревенским, но тёплым — от тела, от рук священника. Оно разлилось по груди приятным теплом, чуть отпустило напряжение.

— Хорошее вино, — сказал Марк. — Сами делали?

— Прихожане носят. Кто хлеба принесёт, кто вина, кто мёду. Я старый, мне много не надо. А вино хорошее, да. Из монастыря, с Валаама, говорят. Там монахи знают толк.

Отец Николай сел напротив, взял свой стакан, но пить не стал — просто грел в ладонях, глядя на Марка поверх ободка.

— Слушай меня, Марк. Я тебя давно знаю. Ты мальчишкой ещё прибегал сюда, когда мать умерла. Помнишь?

— Помню, отче. Вы меня исповедовали тогда. И причащали.

— Помню. Ты плакал, а я говорил: мать твоя теперь у Бога, ей хорошо, не плачь. Ты поверил и перестал. Ты всегда верил легко, как дышишь. Вера у тебя была простая, как у ребёнка. Бог есть — и всё. Церковь — дом. Святые — родня. Так?

— Так, отче.

— А теперь ты увидел то, во что твоя вера не укладывается. И ты испугался. Не того, что это бес — а того, что это может быть правда. Что мир не таков, как учили. Что за этими стенами — что-то другое.

Марк вздрогнул.

— Вы читаете мои мысли, отче?

— Нет, сын мой. Я просто старый. Я много видел и много слышал. И такие, как ты, приходили ко мне и раньше.

— Такие? — Марк насторожился. — Кто?

Отец Николай помолчал, допил своё вино, поставил стакан.

— Были люди. Немногие. Которые видели то же, что и ты. Стены, которые дрожат. Исчезающие тела. Слишком правильные купола. Я их исповедовал. Некоторые уходили, успокоившись. Некоторые… некоторые уходили и не возвращались.

— Куда уходили?

— Туда. — Старик показал пальцем в потолок. — В то, что за стенами.

Марк почувствовал, как холодок пробежал по спине.

— А вы, отче? Вы тоже… видели?

Отец Николай долго молчал. Потом медленно кивнул.

— Видел, Марк. Давно. Когда только начинал служить. Мне было тогда лет тридцать, я иереем стал недавно, горел верой, хотел спасать души. И однажды, во время литургии, когда пели «Иже херувимы», мне показалось, что стены храма дрогнули. Не по-настоящему — а как марево в жару. И я услышал звук. Гул. Железный, ровный, идущий отовсюду. Я испугался, подумал — бес искушает. Перекрестился — звук не ушёл. Помолился — остался. Тогда я понял: это не бес. Это что-то другое.

— Что?

— Не знаю до сих пор. Но с тех пор я иногда слышу этот гул. И вижу, как мир дрожит. Особенно в тишине, когда молюсь подолгу. Тогда мне кажется, что весь наш мир — это мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. И за ним откроется что-то… иное.

Марк смотрел на священника во все глаза.

— Отче, вы… вы верите, что это правда? Что мир не настоящий?

— А что значит — настоящий? — отец Николай усмехнулся. — Ты вот настоящий? Я настоящий? Эта изба, эти иконы, это вино — они настоящие?

— Ну… да. Я их вижу, чувствую.

— А во сне ты тоже видишь и чувствуешь. И для тебя, пока ты спишь, тот мир — настоящий. А просыпаешься — и понимаешь, что это был сон. Так, может, и мы сейчас спим? И смерть — это пробуждение?

Марк хотел перекреститься, но рука не поднялась.

— Тогда вера… тогда Церковь… тогда всё не так?

— Почему не так? Если ты во сне молишься — ты молишься. Если во сне любишь — ты любишь. Если во сне каешься в грехах — ты каешься. Сон не отменяет любви. Он просто… другой.

Отец Николай встал, подошёл к окну, долго смотрел на улицу. Там, за окном, колыхалась трава, гудели шмели, где-то далеко пел петух.

— Ты говоришь, они пели «Свете Тихий». Это хороший гимн. Самый тихий, самый смиренный. Его поют, когда день уходит и наступает ночь, а в душе зажигается свет. Они не проклинали, не призывали громы небесные — они просто пели Богу. Перед смертью. Если это бесы — то почему они поют Богу?

— Может, притворялись?

— Перед кем? Перед толпой, которая их сейчас сожжёт? Кому нужно их притворство? Зачем умирать с именем Бога на устах, если ты в Него не веришь?

Марк молчал. В горле пересохло, хотя только что пил вино.

— Отче, я не знаю, что делать. Если мир не таков, как я думал… если моя охота… если я убивал людей, которые видели правду…

— Ты убивал еретиков, — твёрдо сказал отец Николай. — Людей, которые учили других тому, во что сами верили. Ты исполнял свой долг, как его понимал. Ты не судья, ты воин. Судья — Господь. И только Он знает, кто прав, кто виноват.

— Но если они были правы…

— Если они были правы — тогда они сейчас там, за стеной. И молятся за тебя. Потому что они пели «Свете Тихий», а не проклинали своих палачей.

Марк закрыл лицо руками.

— Я не могу, отче. Я не могу так жить. С этой мыслью.

— А ты не живи с мыслью. Живи с верой. Вера — это не знание. Это доверие. Ты веришь, что Господь благ, что Он не оставит тебя, что даже если ты ошибёшься — Он простит и направит. Вот вера.

Отец Николай подошёл к аналою, взял крест — простой, деревянный, стёртый от постоянного целования.

— Иди с миром, Марк. Я не сниму с тебя твоего сомнения. Я только скажу: Бог испытывает нас не только болью, но и вопросами. Не бойся искать. Бойся отвернуться. Бойся озло-

биться. Бойся перестать любить. А вопросы… вопросы приходят и уходят. Остаётся только любовь.

Он перекрестил Марка. Тот встал на колени, приложился к кресту — дерево было тёплым от рук священника, пахло ладаном и старостью.

— Благословите, отче.

— Бог благословит. И помни: если станет совсем невмоготу — приходи. Поговорим. Помолимся вместе. Не один ты такой.

Марк поднялся, поклонился иконам, вышел.

Солнце стояло уже высоко. Во дворе всё так же грелся толстый рыжий кот, даже не пошевелился, когда Марк проходил мимо.

Марк вышел на улицу и пошёл к центру города.

Вокруг кипела жизнь. Бабы торговали на рынке, мужики тащили мешки, дети бегали с палками, изображая воинов. Всё было как всегда. Всё было правильно.

Но теперь Марк слышал.

Гул. Тот самый, о котором говорил отец Николай. Ровный, железный, идущий отовсюду. Он был всегда, просто раньше Марк не замечал его, заглушал молитвой, суетой, работой. А теперь услышал.

И понял: этот гул — не снаружи. Он внутри. В каждой клетке тела. В каждой мысли. В самом воздухе.

Марк остановился посреди улицы, прислушался. Люди обходили его, кто-то толкнул, извинился, он не заметил.

Гул звучал.

Как дыхание огромного зверя. Как биение огромного сердца. Как работа огромной машины.

Марк перекрестился — правой рукой, истово — и пошёл дальше.

Глава 3. Сомнения инквизитора

Не успел Марк сделать и десяти шагов от церкви Космы и Дамиана, как его окликнули.

— Марк! Господин охотник! Стойте!

Голос был резкий, мальчишеский, срывающийся на фальцет. Марк обернулся. По улице, размахивая руками, бежал паренёк лет четырнадцати в сером балахоне инквизиторского служки. На груди у него была нашивка с крестом — такой же крест, какой носили все служители ведомства Глеба, вышитый красной нитью по серому сукну.

Паренёк запыхался, лицо его раскраснелось, со лба катил пот. Видно, бежал долго и быстро.

— Господин охотник! — выдохнул он, остановившись и согнувшись, уперев руки в колени. — Еле нашёл вас! Весь город обегал!

— Что случилось? — Марк нахмурился. Неприятное предчувствие шевельнулось в груди.

— Господин Глеб требует вас. Немедленно. Велел передать: «Пусть приходит, не мешкая, дело важное». Сказал — срочно, чтобы нигде не задерживались.

Марк помолчал, глядя на паренька. Глеб. Верховный инквизитор. Человек, которого боялся весь город — и даже князь, говорят, советовался с ним перед важными решениями, и даже митрополит уступал ему в спорах о вере.

Марк знал Глеба давно. Очень давно. Ещё до того, как тот стал инквизитором, до того, как надел этот страшный серый балахон с крестом. Тогда, лет пятнадцать назад, они вместе ходили в леса — охотились на еретиков. Глеб был простым священником, но в руках держал не кадило, а топор, и топор этот не знал промаха. Вместе они выкуривали еретиков из землянок, вместе вели их на суд, вместе смотрели, как горят костры.

Потом Глеба заметили. Слишком рьяным он был, слишком усердным. Его забрали в инквизиторию, сделали дознавателем, потом судьёй, потом — главным. И с каждым годом он становился всё страшнее, всё непроницаемей, всё дальше от того молодого попа с топором, с которым Марк делил хлеб и ночлег в лесах.

— Передай: приду, — сказал Марк. — Скоро.

Паренёк кивнул, перекрестился на всякий случай и побежал обратно, только пятки засверкали.

Марк вздохнул глубоко, собираясь с мыслями. Вызов к Глебу — это всегда испытание. Даже для тех, кто чисто перед верой. А уж теперь, когда в душе такие сомнения…

Он поправил меч на поясе, одёрнул рубаху и пошёл к Соборной площади.

Инквизитория стояла напротив собора, через площадь. Трёхэтажное каменное здание из серого гранита, сложенное так плотно, что стены казались монолитными. Окна — узкие, как бойницы, забранные решётками даже на верхних этажах. Высокое крыльцо с каменными львами по бокам — львы эти скалили пасти, и казалось, что они вот-вот оживут и бросятся на всякого, кто подойдёт с нечистой совестью.

Над входом — огромное распятие, высеченное из камня. Христос на нём был не милостивым, как в соборе, а суровым, почти гневным. Руки Его, распятые, казались не призывающими к себе, а отталкивающими, угрожающими.

Марк перекрестился — истово, правой рукой — и поднялся по ступеням.

Внутри было холодно. Даже летом, в самый зной, здесь царил могильный холод, пробирающий до костей. Пахло сыростью, плесенью и ещё чем-то кислым, тошнотворным — может, страхом, который пропитал эти стены за столетия.

Стражники у входа — в чёрных балахонах, с мечами наголо — узнали Марка, молча расступились. Он прошёл в вестибюль, где его уже ждал другой служка, постарше, с постным лицом и бегающими глазками.

— Господин охотник, — зашептал он, подходя. — Господин Глеб ждёт вас на втором этаже. Проводить?

— Сам знаю.

Марк поднялся по широкой каменной лестнице. Ступени были стёрты тысячами ног — тех, кто поднимался сюда с надеждой, и тех, кто спускался отсюда в подвалы, откуда уже не возвращаются.

На втором этаже было светлее — здесь горели факелы в железных держателях, отбрасывая пляшущие тени на стены. Марк прошёл по коридору мимо запертых дверей, за которыми слышались то ли стоны, то ли молитвы, то ли просто скрип половиц. Остановился у последней двери — дубовой, окованной железом, с массивной ручкой в виде львиной головы.

Постучал.

— Войдите, — раздался глухой голос изнутри.

Марк толкнул дверь.

Кабинет Глеба был прост, даже суров. Никаких украшений, никакой роскоши, которые могли бы быть у человека его положения. Простая комната с высоким потолком, одно узкое окно-бойница, забранное решёткой. Стены — голый камень, только на одной — большое распятие, деревянное, грубой работы, но от того ещё более впечатляющее.

Посередине комнаты — тяжёлый дубовый стол, заваленный бумагами, свитками, книгами в кожаных переплётах. В углу — полка с книгами, тоже простыми, без золотых обрезов. Несколько стульев с высокими спинками.

И на столе, рядом с ворохом бумаг, стоял череп. Человеческий череп, пожелтевший от времени, приспособленный под подсвечник. В глазницах его торчали оплывшие свечи, воск застыл бурыми потёками на лобной кости.

Глеб стоял у окна, спиной к Марку, и смотрел на площадь. Фигура его была прямой, неподвижной, словно изваяние. Длинный серый балахон, перепоясанный кожаным ремнём, закрывал тело до пят. Руки сложены за спиной — Марк видел длинные бледные пальцы, сплетённые в замок.

— Садись, Марк, — сказал Глеб, не оборачиваясь.

Марк сел на стул у стола. Подождал.

Глеб стоял долго. Очень долго. Секунды тянулись, превращаясь в минуты. Марк слышал только своё дыхание и далёкие, приглушённые стены, звуки города.

Наконец Глеб повернулся.

Ему было лет пятьдесят, но выглядел он старше. Лицо — сухое, аскетичное, с глубокими морщинами у рта и на лбу. Глаза — серые, холодные, немигающие. Глаза человека, который видел слишком много и перестал удивляться. Губы — тонкие, плотно сжатые. Седина пробивалась в тёмных волосах, в короткой бороде, аккуратно подстриженной.

Он подошёл к столу, сел напротив Марка. Взял в руки чётки — чёрные, деревянные, с тяжёлым крестом на конце — и начал перебирать. Щёлк-щёлк-щёлк — мерно, как метроном.

— Вчера ты был на казни, — сказал он. Это был не вопрос, утверждение.

— Был, — ответил Марк.

— Видел?

— Видел.

— Что скажешь?

Марк помолчал. Что сказать? Правду? Про то, как они исчезали? Про то, как пели? Про то, что тела не сгорели, а растаяли цветными искрами?

— Скажу, что горели хорошо, — ответил он осторожно. — Быстро. Без лишних мучений.

— Быстро, — Глеб повторил это слово, словно пробуя на вкус. — Да, быстро. Очень быстро. Ты не находишь это странным?

— Что именно?

— Ты охотник, Марк. Ты видел много казней. Сколько? Десятки? Сотни? — Глеб смотрел в упор, не мигая. — Ты знаешь, как горят тела. Медленно. Сначала кожа лопается, жир плавится, течёт. Потом мясо обугливается. Кости прогорают часами. А эти… — он сделал

паузу, — я смотрел с паперти. Через полчаса от них остался только пепел. Чистый, белый. Слишком чистый.

Марк молчал. Сердце колотилось где-то в горле.

— Может, дрова смоляные были? — предположил он, хотя сам знал, что это не так.

— Может, — Глеб кивнул, но в глазах его не было согласия. Он отложил чётки, подался вперёд, опираясь локтями о стол. — Ты знаешь, почему я стал инквизитором?

— Потому что веришь.

— Потому что я видел, — поправил Глеб. Голос его стал тише, но от этого ещё напряжённей. — Я видел, что делают с людьми эти ереси. Они отнимают веру. А без веры человек — пустота. Он может убить, предать, сойти с ума. Я защищаю людей от них самих.

— Я знаю, Глеб.

— Нет, не знаешь. Ты думаешь, что знаешь. Но ты не видел того, что видел я. Тех, кто просыпался по-настоящему. Кто выходил из симу… — он осекся, поправился, но Марк уловил это слово: симу… симуляция? — …из ереси. Они возвращались другими. Пустыми. Холодными. Они смотрели на мир и не видели в нём Бога. Нигде. Ни в храме, ни в иконе, ни в молитве. Пустота.

Марк почувствовал, как по спине побежали мурашки. Глеб описывал то, что он сам чувствовал последние дни. Ту пустоту, которая открывалась за красивыми картинками мира.

— А ты? — вдруг спросил Глеб, и глаза его впились в Марка, как иглы. — Ты видишь Бога, Марк?

— Я… — Марк запнулся. — Я стараюсь.

— Стараешься, — Глеб усмехнулся, но усмешка вышла невесёлой, почти болезненной. — Это плохой ответ. Бога не нужно стараться видеть. Он или есть, или нет. Ты либо чувствуешь Его присутствие в каждом камне, в каждом вздохе, либо не чувствуешь ничего. Тогда на казни… я смотрел на тебя. Ты стоял в первом ряду. Я видел твоё лицо. Ты не радовался. Ты не молился. Ты смотрел на них, на этих еретиков, и в глазах у тебя было… сомнение. Ты сомневался.

Марк молчал. Отрицать было бессмысленно — Глеб видел всё. Этот человек замечал то, что другие пропускали. Это делало его страшным инквизитором.

— Я позвал тебя не судить, — Глеб вдруг сменил тон. Стал мягче, человечнее. Даже морщины на лице словно разгладились. — Я позвал тебя предупредить. Ересь расползается. Быстро. Как чума. Каждый день новые имена. Каждый день новые проповеди. Они говорят о «стенах», о «сне», о «пробуждении». И некоторые из моих людей начинают сомневаться.

— Твои люди? — Марк поднял брови.

— Да. Даже здесь, в инквизиции, есть те, кто слушает эти бредни. Думают, что это безобидно. Что люди просто ищут утешения. А я знаю — это яд. Медленный, но смертельный. Я их чищу. Безжалостно. Но ты нужен мне снаружи. Ты охотник. Ты ходишь по лесам, по деревням, ты видишь людей лицом к лицу. Скажи мне: что там?

Марк помедлил. Стоило ли говорить правду? Глеб был врагом тех, кого Марк начинал понимать. Но Глеб был и его начальником, и его бывшим другом, и человеком, который тоже, кажется, видел что-то за стенами.

Он решил сказать правду. Частично.

— Там пустота, Глеб. Люди устали. Болезни, неурожаи, налоги. Им нужна надежда. Любая. Если еретики дают надежду — люди идут к ним. Это не потому, что они злые. Это потому, что они отчаявшиеся.

— Даже если эта надежда — ложь?

— А если не ложь?

Глеб замер.

Секунду они смотрели друг на друга. В комнате стало тихо — так тихо, что Марк слышал, как потрескивает свеча в черепе.

— Ты тоже начал верить? — спросил Глеб тихо, почти шёпотом.

— Я не знаю, во что верить, — честно ответил Марк. — Я просто вижу то, что вижу. И это не укладывается в то, чему меня учили. Не укладывается в эту красивую, правильную картину мира.

— А если они действительно видят что-то, чего не видим мы?

Марк вздрогнул. Это был его собственный вопрос — тот самый, что мучил его все эти дни, что он задавал на исповеди отцу Николаю, что звучал в голове каждую ночь. Глеб повторил его слово в слово.

— Тогда, — медленно сказал Глеб, вставая из-за стола, — тогда это бесовское наваждение. Потому что нет другой правды, кроме той, что дана нам Церковью. Всё, что вне её — от лукавого. Любая другая правда — ложь, ведущая в погибель.

Он подошёл к распятию на стене, коснулся пальцами ног Христа — деревянных, стёртых от тысяч касаний.

— Ты же верующий, Марк. Неужели ты готов променять вечность на обман? На красивую сказку о «пробуждении»? За стенами этого мира — только ад. Тьма внешняя, где плач и скрежет зубов. Я знаю это. Я чувствую. Я видел.

— Откуда ты знаешь? — вырвалось у Марка.

Глеб обернулся. В глазах его мелькнуло что-то — боль? страх? отчаяние? — но тут же исчезло, спряталось за привычной маской суровости.

— Я тоже видел стены, Марк. Давно. Когда только начинал. Мне показали… кое-что. Я мог уйти. Я мог перешагнуть порог. Но я выбрал остаться. Потому что здесь — жизнь. Вера. Любовь. Надежда. А там — пустота и холод. Бесконечная, ледяная пустота. Я не хочу туда. И тебе не советую.

Он вернулся к столу, сел. Руки его дрожали — чуть-чуть, почти незаметно, но Марк заметил.

— Я даю тебе задание, — сказал Глеб уже другим тоном — официальным, сухим. — Тайное. Никому не говори, даже своим людям. В Запретном лесу есть место — поляна с железным идолом. Мои люди нашли его. Там собираются еретики, молятся этой мерзости, этой железной твари с огоньками. Найди их. Всех. До единого. И уничтожь. Идол сожги, пепел развей по ветру. Чтобы и памяти не осталось. Это приказ.

Марк кивнул.

— Сделаю, — сказал он.

— И помни, Марк, — Глеб снова посмотрел на него в упор. — Я слежу за тобой. Все эти дни я слежу. Если ты собьёшься с пути… если я узнаю, что ты сомневаешься… я приду за тобой сам. И никакая наша давняя дружба тебя не спасёт.

Марк поднялся.

— Я понял.

— Ступай.

Он вышел из кабинета, прошёл по коридору, спустился по лестнице. Стражники у входа проводили его взглядами. На крыльце он остановился, глубоко вздохнул.

Солнце слепило глаза. Площадь шумела. Люди ходили, торговали, смеялись. Обычная жизнь.

Марк посмотрел на свои руки. Они были холодными.

Глеб знал. Знал про «стены». Знал, что Марк сомневается. И при этом не арестовал, не сжёг — предупредил. Дал шанс. Или проверял?

***

Домой он вернулся уже к вечеру. Долго сидел у окна, глядя на закат. Небо было красивым — розовым, золотым, лиловым. Облака плыли медленно, как корабли. Всё было как всегда.

Но Марк уже знал: это небо — не настоящее.

Или настоящее, но не последнее.

— Господи, — прошептал он. — Если Ты есть — помоги. Я не знаю, что делать. Я не знаю, куда идти. Я просто хочу правды. Какой бы она ни была.

Марк лёг спать. И в эту ночь ему приснился сон.

Он стоял посреди бесконечной серой равнины. Ни неба, ни земли — только серая гладь, уходящая во все стороны. И тишина. Абсолютная, полная, звенящая.

Потом из серой мглы выступила фигура. Женщина в странной одежде, с усталым лицом.

— Ты ищешь правду? — спросила она.

— Да.

— Правда горька. Ты готов?

— Готов.

— Тогда просыпайся.

Марк проснулся.

Была ночь. В окно светила луна — круглая, яркая, слишком правильная.

Гул звучал.

Марк сел на лавке, обхватил голову руками.

— Господи, — прошептал он. — Дай мне сил.

И пошёл собираться в новый поход. Пора было на охоту.

Глава 4. Погоня в лесу

Отряд вышел на рассвете, когда город ещё спал, укутанный предутренним туманом, плывущим от реки.

Марк поднял людей затемно — сам не спал почти всю ночь, ворочался на лавке, слушал гул, который теперь не отпускал его ни на минуту. Гул стал тише, приглушённей, но не исчезал совсем — прятался где-то на границе слышимости, напоминая о себе ровным, пульсирующим давлением в висках.

Он оделся быстро, натянул кожаный доспех, поверх — волчью накидку. Меч проверил особенно тщательно — вынул из ножен, провёл пальцем по лезвию, придирчиво осмотрел каждую зазубрину. Меч был хорош — булатная сталь, кованая ещё дедом, передававшаяся по наследству. Тяжёлый, надёжный, не раз выручавший в сечах.

Пафнутий уже ждал на крыльце, хмурый, невыспавшийся, с неизменной трубкой в зубах. Старый вояка был надёжен, как камень, — за двадцать лет службы Марк ни разу не видел, чтобы он дрогнул или усомнился. Пафнутий просто делал своё дело и не задавал лишних вопросов. Сейчас он курил, сплёвывал сквозь зубы и смотрел на восток, где небо только начинало светлеть.

— Люди готовы, — сказал он, не оборачиваясь. — Десятеро, как велел. Стрелки, копейщики, припасов на три дня.

— Лошадей не берём?

— В лесу они бесполезны. Только шум создадут. Пешком быстрее и тише.

Марк кивнул. Пафнутий знал своё дело.

Они пошли к околице, где уже строился отряд. Десять человек — лица знакомые, проверенные. Игнат и Михей, лучшие стрелки, братья-близнецы, которых звали Рыжиками — волосы у обоих горели медью на солнце. Трое копейщиков — молчаливые мужики из бывших дружинников, теперь служившие в охотничьем приказе. И четверо молодых, необстрелянных, взятых для обучения и для чёрной работы — таскать припасы, ставить шатры, кашеварить.

Марк окинул их взглядом, мысленно пересчитал, проверил снаряжение. Всё было при них: луки со стрелами, копья, мечи, топоры, сухой паёк на три дня, фляги с водой, огниво, верёвки. Охотники знали, что в лесу может случиться всякое.

— Выступаем, — коротко бросил Марк и зашагал к Западным воротам.

Город просыпался медленно. Ворота уже открыли, стража лениво переругивалась, пропуская первых торговцев с возами. Увидев охотников, почтительно расступились. Марк кивнул старшему и вышел за стены.

За воротами начиналась дорога, а за дорогой — лес.

Запретный лес.

Он назывался так не потому, что вход в него был запрещён — ходить можно было, хоть и страшновато. Запретным его прозвали за то, что из него редко возвращались те, кто уходил слишком далеко. Там водились звери — медведи, волки, рыси. Там прятались лихие люди — разбойники, беглые, еретики. Там, по слухам, водилась и нечисть — лешие, оборотни, кикиморы. Марк в нечисть не верил, но в еретиков верил твёрдо. И знал: они там, в глубине, молятся своим железным идолам и ждут конца света.

Дорога быстро кончилась, сменившись тропой, а тропа скоро и вовсе исчезла в густой траве. Отряд углубился в лес.

Лес встретил их тишиной.

Это было первое, что заметил Марк, и это показалось ему странным. Обычно в лесу всегда шумно — птицы перекликаются, ветки трещат, зверьё шуршит в подлеске. Здесь было тихо. Совсем тихо. Ни птиц, ни зверей, ни ветра — только глухое, давящее безмолвие, от которого закладывало уши.

— Странно, — буркнул Пафнутий, озираясь. — Словно вымерло всё.

— Может, зверьё чует нас и попряталось? — предположил молодой, один из новичков.

— Может, — Пафнутий не стал спорить, но лицо его оставалось хмурым.

Марк шёл первым, положив руку на рукоять меча. Он знал этот лес, исходил его вдоль и поперёк за десять лет охоты. Каждую тропу, каждую поляну, каждый овраг. Но сегодня лес казался другим.

Слишком тихим.

Слишком правильным.

Он заметил это не сразу — только через час ходьбы, когда солнце поднялось выше и осветило лес по-настоящему. Марк остановился как вкопанный, глядя на деревья.

Они стояли ровными рядами.

Не как в лесу, где деревья растут вперемешку, где одно кривое, другое прямое, где берёза обнимается с осиной, а дуб растёт особняком. Здесь деревья стояли рядами. Как в парке. Как в саду, разбитом человеческими руками.

Между ними были одинаковые расстояния — шага три, не больше, не меньше. Ветки росли на одной высоте. Кроны были подстрижены — нет, не подстрижены, а словно бы нарисованы одной кистью, одинаково, шаблонно.

Марк смотрел и не верил глазам.

— Чего встал? — Пафнутий ткнулся ему в спину, едва не налетев.

— Посмотри, — Марк кивнул на деревья. — Видишь?

— Дрова, — Пафнутий пожал плечами. — Лес как лес.

— Рядами стоят. Ровно.

— Ну и что? Посаженный, может. При монастыре каком раньше было. Или боярин лес разводил для охоты. Всякое бывает.

Марк хотел возразить, что для посадок нужны десятилетия, что монастырей здесь никогда не было, что боярские леса выглядят иначе. Но не стал. Махнул рукой — пошли дальше.

Но теперь он смотрел во все глаза. И видел.

Всё было слишком правильным.

Трава под ногами — одинаковая высота. Листья на кустах — одинаковый размер. Тени от деревьев — падают под одинаковыми углами, словно солнце стоит сразу везде.

Марк сжимал рукоять меча и заставлял себя идти дальше.

К полудню они наткнулись на стоянку.

Небольшая поляна, примятая трава, остатки кострища — угли ещё тёплые, дымок едва заметный. Вокруг следы — много следов, мужских, женских, детских. Обрывки ткани, кости от съеденной дичи, пустые короба.

— Час как ушли, — определил Пафнутий, пощупав золу. — Горячая ещё. Не больше часа.

— Сколько их?

— Человек двадцать. С бабами и детьми. Может, больше.

— Догоним?

— Если поторопимся — к вечеру догоним. Они с детьми, быстро не уйдут.

Марк кивнул.

— Вперёд. Без шума.

Отряд ускорился. Лес становился гуще, мрачнее. Деревья смыкали кроны, почти не пропуская свет. Вокруг царил полумрак, хотя солнце стояло высоко.

Марк шёл и считал шаги, чтобы не думать о том, что всё вокруг — будто нарисовано.

Сто двадцать три.

Сто двадцать четыре.

Сто двадцать пять.

Тропа вилась между стволами, то поднимаясь на пригорки, то спускаясь в овраги. Марк знал эти места, но сегодня они казались чужими. Будто он шёл по декорации, по огромной подделке, где каждое дерево — бутафория, каждый лист — нарисован.

И гул. Гул усилился. Теперь он звучал отчётливо, ровно, как дыхание машин. Марк чувствовал его кожей, костями, самой глубиной существа.

— Слышишь? — спросил он Пафнутия.

— Чего?

— Гул. Железный.

Пафнутий прислушался, покрутил головой.

— В ушах, что ли, у тебя? Ничего не слышу. Тишина.

Марк промолчал. Значит, только он слышит.

Или только те, кто видел стену.

Тропа вывела на поляну.

И тут Марк забыл, как дышать.

Поляна была большая, круглая, поросшая высокой травой. В центре её, на небольшом возвышении, стояла плита. Огромная, серая, металлическая, вросшая в землю так давно, что вокруг неё выросли деревья, а корни оплели основание, словно пытаясь скрыть, спрятать, вернуть земле.

Плита была старой. Очень старой. Ржавчина покрывала её бурыми пятнами, кое-где металл прохудился, обнажая внутренности — какие-то платы, провода, странные детали. Но на плите горели огоньки.

Красные, зелёные, жёлтые, синие. Они мигали в такт, ритмично, как живой организм. Как сердце. Как пульс.

И перед плитой на коленях стояли люди.

Много людей. Двадцать, а может, и больше. Мужчины, женщины, дети. Они стояли на коленях в мокрой траве, не чувствуя холода, и молились. Не иконам, не кресту, не небу — этой плите. Этому железному идолу с горящими огнями.

— Господи Иисусе Христе… — выдохнул Пафнутий, мелко крестясь. — Они бесам молятся.

— Тихо, — Марк поднял руку. — Не спугнуть. Окружаем.

Отряд начал расходиться, бесшумно скользя между деревьями. Стрелки натянули луки, копейщики приготовили оружие. Марк остался на месте, глядя на это странное моление.

Один из еретиков — высокий, седой, в рваной рясе, похожей на монашескую, — стоял впереди всех, воздев руки к плите, и говорил. Говорил громко, с надрывом, со слезами в голосе:

— Боже железный! Боже огненный! Услышь нас! Ты спишь, но мы тебя разбудим! Ты молчишь, но мы услышим! Приди к нам, явись нам, спаси нас из этого мира снов! Выведи в настоящий мир, где нет обмана, где всё по-настоящему, где правда!

Толпа вторила ему — гулом, всхлипами, выкриками. Кто-то бился головой о землю, кто-то рвал на себе волосы, кто-то протягивал руки к плите, словно хотел коснуться, вобрать в себя этот железный свет.

— Мы устали спать! — кричал седой. — Мы хотим проснуться! Ты обещал! Ты звал! Мы пришли! Открой нам дверь!

Марк смотрел на плиту, на огоньки, и вдруг понял: они мигают в такт его сердцу. Красный — удар, зелёный — пауза, жёлтый — новый удар. Как будто плита слушала его, настраивалась на его ритм.

И гул. Гул стал невыносимым. Он шёл от плиты — мощный, всепроникающий, заполняющий всё существо. Марку казалось, что ещё немного — и он растворится в этом гуле, исчезнет, станет частью этой железной музыки.

— Взять их! — крикнул он, пересиливая себя.

Стрелки выскочили из-за деревьев. Началась свалка.

Но еретики не сопротивлялись. Они даже не пытались бежать. Они падали на колени, прикрывая детей, и продолжали молиться — ещё громче, ещё исступлённей. Охотники вязали их, били древками копий, тащили к центру поляны. Кто-то закричал — женщина, которой вывихнули руку. Кто-то заплакал — ребёнок, испуганный грубыми солдатскими руками.

Марк стоял в стороне, сжимая меч, и смотрел.

Вдруг один из мужчин — молодой, с безумными глазами, в разодранной рубахе — вырвался из рук схвативших его стрелков и бросился к Марку.

— Ты! — закричал он, хватая Марка за руку мёртвой хваткой. — Ты! Я тебя знаю! Ты уже просыпался! Я вижу! У тебя глаза другие! В них холод! В них железо! Ты был там и вернулся! Но забыл! Вспомни! Вспомни холод!

Марк отшатнулся, попытался вырвать руку, но пальцы еретика впились в запястье, как клещи. Глаза его горели безумным огнём, изо рта текла слюна, лицо было перекошено судорогой.

— Там, за стеной! — кричал он. — Там настоящий мир! Там железо и холод! Там люди в ящиках! Там корабль! Ты был там! Ты видел! Вспомни!

Марк рванулся, выхватил меч. Удар пришёлся в грудь — хрустнули рёбра, брызнула кровь. Еретик осел, но перед смертью успел прошептать, глядя Марку прямо в глаза:

— Вспомни… холод…

И умер.

Марк стоял над ним, тяжело дыша, сжимая окровавленный меч. Смотрел, как кровь впитывается в землю — красная, густая, настоящая. Не исчезает. Не рассыпается искрами. Просто кровь.

— Марк, — окликнул Пафнутий. — Всех взяли. Двенадцать мужиков, семь баб, четверо детей.

— Детей?

— Ну да. С ними, с еретиками. Тоже, стало быть, еретики.

Марк посмотрел на детей. Мальчик лет пяти, девочка лет трёх, ещё двое постарше. Они не плакали. Они смотрели на плиту с огоньками, и на лицах у них было выражение, которое Марк не мог понять. Не страх, не боль — что-то другое. Спокойствие. Даже счастье.

— Что с плитой? — спросил Марк, отводя взгляд.

— А чёрт её знает. Металл, ржавый весь. Может, древний истукан. Может, языческое капище. Сжечь?

— Сжечь.

Плиту обложили хворостом — сухим, смолистым, собранным тут же в лесу. Подожгли. Огонь взметнулся высоко, затрещал, загудел. Но металл даже не нагрелся. Огонь лизал его, обтекал, не причиняя вреда. Огоньки на плите продолжали мигать — равнодушно, ровно, в том же ритме.

Потом, через минуту, они погасли все разом.

Сразу.

Как будто кто-то выключил свет.

Стало тихо. Даже гул исчез — впервые за много часов Марк не слышал его. Тишина была такой полной, такой абсолютной, что заложило уши.

— Ведите всех в город, — приказал Марк. — Завтра суд.

Он шёл позади колонны, глядя в спины пленников. Они брели молча, не пытаясь бежать, не прося пощады. Женщина несла на руках ту самую трёхлетнюю девочку. Девочка обернулась, посмотрела на Марка и улыбнулась.

Как та, на костре. Спокойно, радостно. Будто знала что-то, чего не знал он.

Марк отвернулся.

Вспомни холод, сказал умирающий.

Какой холод?

Он шёл и вспоминал. Перебирал в памяти всю жизнь — детство, мать, отца, которого почти не помнил, жену, её смерть, годы охоты. Ничего. Никакого холода. Только тепло — печки в избе, материнских рук, церковных свечей.

Но где-то глубоко, на самом дне сознания, шевелилось что-то. Смутное, неуловимое. Воспоминание, которое не было воспоминанием. Сон, который не был сном.

Холод.

Железо.

Гул.

Марк тряхнул головой, отгоняя наваждение.

К вечеру вышли из леса. Городские ворота уже запирали, но стража, увидев охотников с добычей, пропустила. Пленников повели в подвалы инквизиции — мрачное каменное здание рядом с собором, откуда редко кто выходил живым.

Марк сдал их под расписку, получил от дежурного инквизитора благодарность и пошёл домой.

Ноги гудели, спина ныла, голова раскалывалась. Хотелось только одного — упасть и забыться.

Дома он упал на лавку, не раздеваясь, не помолившись, даже не сняв сапог. И провалился в сон — глубокий, чёрный, без сновидений.

Но перед сном, уже на грани забытья, он снова услышал шёпот:

— Вспомни холод…

И впервые за много лет Марку приснился сон, который он не мог вспомнить утром.

Только холод остался. И гул. И чувство, что всё, что он знает, — неправда.

Глава 5. Гимн в сумерках

Утро после возвращения из Запретного леса наступило тяжело, как похмелье после долгого пира.

Марк проснулся оттого, что солнце било прямо в глаза — он забыл закрыть ставни, и теперь золотые лучи плясали по избе, выхватывая из темноты знакомые предметы: иконы в углу, стол у стены, печь с ещё тёплыми углями, волчью накидку на гвозде. Всё было на месте, всё было привычным, но смотреть на это без содрогания Марк не мог.

Вчерашнее стояло перед глазами.

Поляна. Плита с огоньками. Люди на коленях. И тот, последний, с безумными глазами, вцепившийся в руку: «Вспомни холод!»

Марк сел на лавке, обхватил голову руками. В висках стучало, во рту было сухо, как в пустыне. Он попытался вспомнить сон, который снился этой ночью, — и не смог. Только холод остался. И гул. И чувство, что он что-то забыл, что-то очень важное, без чего вся его жизнь — пустота.

Он встал, умылся ледяной водой из кадки — не помогло. Перекрестился на иконы — рука дрогнула, но на этот раз он заставил себя креститься правой, правильно, истово. Прочитал «Отче наш» — слова вылетали сами, без участия души, как заученный урок.

Надо было идти в собор.

Марк сам не понимал, зачем ему это нужно. Может, надеялся, что в храме, под сводами, под пение, под запах ладана, к нему вернётся покой. Может, просто не мог сидеть дома, в этой тишине, которая теперь казалась ему не тишиной, а затаившимся дыханием огромного зверя.

Он оделся тщательнее обычного — надел чистую рубаху, подпоясался расшитым поясом, накинул сверху тёмный плащ. Волчью накидку оставил дома — сегодня он не охотник, сегодня он просто прихожанин.

Вышел.

Город жил своей обычной жизнью. Рынок шумел, торговки зазывали покупателей, мужики тащили мешки, дети носились с собаками. Пахло сдобой, рыбой, навозом — привычно, успокаивающе. Марк шёл и ловил себя на том, что разглядывает лица прохожих. Ищет среди них тех, у кого глаза «не такие». Тех, кто тоже видел стену.

Не находил.

Собор открылся внезапно — за поворотом, во всю ширь. Белокаменный, пятиглавый, с золотыми куполами, горящими на солнце. Марк остановился, как всегда останавливался, глядя на это великолепие. Триста лет назад первые зодчие сложили эти стены — без чертежей, без машин, одним упорством и верой. Каждый камень они обтёсывали вручную, каждый купол крыли золотом, рискуя сорваться с лесов. Сколько их погибло, пока строили это чудо? Сколько

вдов оплакивали мужей, сколько детей остались сиротами — ради того, чтобы через века Марк стоял здесь и смотрел?

Он перекрестился и вошёл внутрь.

В соборе было прохладно и сумрачно после яркого солнца. Глаза привыкали медленно, и первое время Марк видел только смутные очертания — колонны, уходящие ввысь, своды, теряющиеся в темноте, мерцание лампад у икон. Пахло ладаном густо, сладко, почти удушающе. Пахло воском от сотен свечей. Пахло деревом и старой краской. Пахло вечностью.

Марк прошёл в центр, встал у одной из колонн, прислонился спиной к холодному камню. Камень был настоящим — шершавым, с мелкими трещинками, с вкраплениями слюды, блестящей в полумраке. Марк провёл по нему ладонью, чувствуя каждую неровность. Это успокаивало.

Служба уже началась. Вечерня. Народу было немного — старухи в тёмных платках, несколько калек у входа, купцы с жёнами, пара боярских детей в дорогих кафтанах. Все стояли чинно, крестились в такт возгласам дьякона.

Хор пел.

Марк поднял голову к клиросу, где в два ряда стояли певчие — взрослые мужики в тёмных рясах и мальчишки в белых стихарях. Голоса лились ровно, чисто, профессионально. «Господи воззвах» — древний псалом, который поют на каждой вечерне вот уже тысячу лет. Слова врезались в душу, поднимали её ввысь, отрывали от земли.

«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе. Услыши мя, Господи.»

Марк закрыл глаза, отдаваясь этому потоку. Голоса обволакивали, несли, поднимали. На миг ему показалось, что он летит. Что нет ни собора, ни города, ни даже его самого — только свет, только покой, только бесконечная любовь, разлитая в воздухе.

И вдруг — удар.

Холод.

Тот самый. Железный. Изнутри.

Марк открыл глаза, задыхаясь. Сердце колотилось где-то в горле. Он смотрел на собор — и видел его по-другому.

Линии колонн были слишком ровными. Слишком правильными. Капители с резными листьями повторялись — одинаковый узор, одинаковые изгибы, словно их вырезали не вручную, а штамповали одной формой. Складки на одеждах святых, изображённых на фресках, повторялись. Тени падали под одинаковыми углами.

Мир был машиной.

Красивой, совершенной, но мёртвой машиной.

Марк зажмурился, сжал кулаки, заставил себя дышать — глубоко, ровно, как учил отец Николай. Открыл глаза.

Нет, всё то же.

Тогда он перевёл взгляд на хор. На мальчишек в белых стихарях. И среди них увидел Тихона.

Мальчик стоял с краю, чуть выдвинувшись вперёд. Худенький, светловолосый, с закрытыми глазами. Он пел — и голос его выделялся даже в этом прекрасном хоре. Чистый, высокий, невероятной красоты и силы. Он не кричал, не пытался перекрыть других — он просто был. И в этом голосе звучало всё: вера, надежда, любовь, боль, радость, предчувствие вечности.

Марк смотрел на него и не мог оторваться. Мальчик пел с таким выражением, будто видел Бога. Будто стоял перед Ним лицом к лицу. Будто для него не существовало ничего, кроме этой музыки, этого взлёта, этого прикосновения к небу.

И вдруг Марк понял: Тихон видит. Не глазами — но видит. Видит то же, что и Марк? Или что-то другое?

Служба шла своим чередом. Хор пел стихиры, дьякон читал ектеньи, священник возглашал. Марк стоял у колонны, не в силах ни молиться, ни уйти. Он просто смотрел на Тихона и слушал.

И чем дольше он слушал, тем яснее понимал: мальчик знает. Знает то, чего не знают другие. Знает про стены. Про гул. Про холод.

Когда служба кончилась и люди потянулись к выходу, Марк остался стоять. Он ждал.

Тихон спустился с клироса не сразу. Сначала помог сложить книги, потом поговорил с регентом, потом медленно, ощупывая дорогу посохом, пошёл к выходу. Шёл он уверенно, как зрячий, — обходя скамьи, подсвечники, столпившихся у дверей старух.

Марк шагнул к нему.

— Тихон.

Мальчик остановился. Повернул голову — именно повернул, прислушиваясь, хотя Марк стоял прямо перед ним.

— Ты тот охотник, — сказал он. Не спросил — утвердил. — Я слышу твоё сердце. Оно бьётся не так, как у других.

— Как? — хрипло спросил Марк.

— Громче. И реже. Ты видел что-то. Что-то, чего другие не видят.

Марк молчал. Слова застревали в горле.

— Не бойся, — Тихон улыбнулся. Светло, по-детски, но с какой-то странной мудростью во взгляде — хотя взгляда у него не было, одни только закрытые веки. — Я тоже вижу. Не глазами — ушами. Я слышу, как мир поёт. Неправильно. Как будто одна нота всё время повторяется. Как будто мы все в огромном колоколе, и кто-то снаружи бьёт в него, а мы не слышим.

— Кто?

— Не знаю. Но иногда мне кажется, что если запеть громче всех — я услышу ответ. Оттуда. Снаружи.

Мальчик протянул руку — тонкую, почти прозрачную, с длинными пальцами музыканта — и коснулся руки Марка. Ладонь была тёплой, живой.

— Ты холодный, — сказал Тихон. — Как железо. Ты оттуда?

Марк отдёрнул руку.

— Я отсюда.

— Нет, — Тихон покачал головой. — Ты был там. И вернулся. Я слышу. У тебя внутри гудит. Как та плита в лесу.

Марк вздрогнул.

— Откуда ты знаешь про плиту?

— Я всё знаю, — мальчик улыбнулся ещё шире. — Я слепой. Мы, слепые, видим больше, чем вы. Вы смотрите глазами и думаете, что это правда. А мы слушаем и слышим, как всё на самом деле. Глаза обманывают. Уши — нет.

— Что ты слышишь сейчас?

— Тишину, — Тихон склонил голову, прислушиваясь. — Но не настоящую. Под ней — гул. Тот самый, железный. Он идёт отовсюду. От камней, от дерева, от икон. От тебя.

— От меня?

— Ты гудишь громче всех. Ты как колокол, в который ударили, и он всё ещё звучит. Только звук этот — не для ушей. Для души.

Марк почувствовал, как по спине побежали мурашки.

— Тихон, а ты… ты кому-нибудь рассказывал об этом?

— А кому рассказывать? — мальчик пожал плечами. — Священникам? Они скажут — бес искушает, надо поститься и молиться. Детям? Они не поймут. Взрослым? Они заняты своими делами. Только ты пришёл и спросил. Значит, тебе это нужно.

— Нужно.

— Тогда слушай. И запоминай. Мир, в котором мы живём, — не настоящий. Это сон. Очень красивый сон, очень правильный, но сон. А тот, кто создал этот сон, — он там, снаружи. И он ждёт, когда мы проснёмся.

— Зачем ему это?

— Не знаю. Может, любит нас. Может, просто хочет, чтобы мы увидели правду. Ты же хочешь?

— Хочу.

— Тогда ищи. Скоро стена откроется тебе. Ты уже близко. Я слышу.

Тихон повернулся и пошёл к выходу, легко обходя препятствия. У самых дверей остановился, обернулся:

— Приходи завтра. Я спою тебе «Херувимскую». Ты услышишь. То, что нужно.

И вышел.

Марк остался один в пустом соборе.

Служба давно кончилась, народ разошёлся, дьяконы гасили свечи, убирали утварь. Пахло остывающим ладаном и воском. Где-то далеко, в алтаре, шаркали шаги — пономарь готовил храм к завтрашней литургии.

Марк поднял глаза на иконостас.

Спаситель смотрел с него — строго, печально, милостиво. Глаза Его, казалось, следили за Марком, куда бы тот ни отошёл. Настоящие глаза. Живые.

Или нет?

Марк всмотрелся пристальнее. Краска. Левкас. Олифа. Очень искусная работа, но — работа. Руки человеческие. А там, за этим слоем краски, — пустота. Или Бог?

Он не знал больше.

Он перекрестился — машинально, привычно — и вышел на паперть.

Вечер опускался на город.

Солнце уже село, но небо ещё горело багрянцем и золотом — последний отблеск уходящего дня. Облака плыли медленно, как корабли, подсвеченные снизу розовым. Зажигались первые огни в окнах — свечи, лучины, масляные лампы. Где-то лаяла собака, где-то пели петухи — хотя какие петухи в сумерках, когда они спят?

Марк спустился с паперти и пошёл домой, считая шаги.

Сто двадцать три.

Сто двадцать четыре.

Сто двадцать пять.

Тот же лес. Тот же счёт. Та же неправильная правильность.

Он остановился. Поднял голову к небу.

Там, где должна была загораться первая звезда — вечерняя, путеводная, та, что зажигают пастухи и странники, — висело что-то другое. Красная точка. Мигающая. Ровно, ритмично, как те огоньки на плите в лесу.

Марк смотрел на неё, и сердце его колотилось где-то в горле. Потом точка погасла. Небо стало обычным — тёмно-синим, с проступающими звёздами, с тонким серпом молодой луны.

— Господи, — прошептал Марк. — Что это было?

Ответа не было.

Только гул — ровный, железный, всё нарастающий.

Марк заставил себя идти дальше. Дошёл до дома, вошёл, запер дверь. Зажёг лучину — пламя метнулось, затрещало, осветило красный угол с иконами.

Он упал на колени перед образами.

— Господи, — зашептал он, — если Ты есть — помоги. Я не понимаю, что со мной. Я вижу то, чего не видят другие. Я слышу то, чего не слышат. Я боюсь, что схожу с ума. Или что правда — страшнее любого безумия.

Он простоял на коленях до полуночи.

Молиться он так и не смог.

Слова застревали в горле, рассыпались прахом, не долетали до неба. Иконы молчали. Только лучина потрескивала, догорая, да за окном шумел ветер — или не ветер, а что-то другое, железное, ровное, бесконечное.

Марк лёг на лавку, не раздеваясь, и долго смотрел в потолок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.